

СРЕДИ СОМНЕНИЙ И ОЧЕВИДНОСТЕЙ

1.

Что есть собственно литература, где начинается она и где кончается? Что, например, отделяет ее от публицистики и куда отнести легенду о великом инквизиторе, считать ли или не считать Розанова литератором? Все это темно и теперь, особенно после того, как познакомились с новым западным романом, типом которого является «Улисс» Джойса или «Парижский крестьянин Луи Арагона, этой энциклопедией быта, остроумия, легенд, снов, статей и рассказов о двадцати персонажах.

Все больше и больше хочется думать, что литература есть документ тем более ценный, чем более полный, универсально-охватывающий человека снимок, слепок, стенограмма, фотография. Но что-же тогда с отбором, с выбором стоящего и не стоящего? Стоящее есть полное заинтересованностью духовно конкретное.

В противоположность взгляду Бердяева, искусство кажется мне наиболее predetermined, наименее свободным родом творчества. Начать с того, что художник еще более огороженника зависит от состояния внутренней погоды, позволяющей или не позволяющей ему плодотворно работать. Искусство есть благодать и вся свобода относительно благодати заключается в том, чтобы ее ждать.

Но больше того, не только само решение творить не свободно, ибо настоящий художник половину своего времени не может творить, а другую не может не творить; но и род, характер творчества predetermined весь до конца. Толстой мог по другому назвать «Анну Каренину», по другому расположить некоторые второстепенные события (хоть это и сомнительно), мог даже соединить ее с «Войной и Миром»; но он

ничего другого не мог написать, кроме именно дворянского романа именно с такими, а не иными, героями.

Но почему? Потому, что художник описывает лишь самого себя и то, чем он мог бы быть, свое потенциальное.

Проблемы брака и непротивления родились вместе с ним. Он не найдет покоя, пока не будет писать, сочиняя, не сможет от них избавиться. Только Гоголь пытался свободно переизбрать себе назначение и, увы, получилась всего лишь «Переписка с друзьями».

Всякий художник, который творит из ничего новое и небывшее относительно своего прошлого, своей памяти, лжет и выдумывает и даже имена героев (как Анна для Блока) являются для него чем то роковым и провиденциальным.

2.

Вот почему мне кажется, что единственный способ раскрыть эмиграцию, понять ее, — это вслушаться в ее литературу. Мне скажут, может быть, что и не следует понимать эмиграцию, а следует ее осмысливать, создавать новые ее формы.

Да, может быть, на общественных собраниях и в статьях, но в искусстве всякая форсировка, всякий выход из пассивного, — не творящего, а рождающего себя в красоте состояния, — тотчас-же создает выдуманность и публицистический оттенок. А надуманность и публицистика — как раз тот единственный серьезный упрек, который можно сделать сейчас советской литературе.

Будьте честнее — хочется сказать им, — будьте природнее и бесстыднее, — ибо где есть стыд и сокрытие в литературе — там нет раскрытия естественности и жизни.

Без некоего героизма откровенности не было бы ни подпольного человека, ни исповеди Ставрогина, ни Нехлюдова, ни Пруста, ни Джойса.

Всякое принуждение и даже самопринуждение сводит целого человека к одной только его стороне — долженствованию — и уродует природу искусства, ибо только самопроизвольное, самозабвенное, — действительно живо и музыкально.

3.

Художник прав лишь когда пифически, пророчески импульсивен, но как личность — вполне пассивен относительно своего духа; он как бы мист подземного экстатического культа, и как далеко от него рациональное, произвольное творчество инженера или метафизика — строение сознательное и волевое, идеал дневного надземного солнечного культа, относительно которого Бердяев несомненно прав, называя его максимумом свободы.

Обреченный на изображение своих навязчивых тем, непрестанных своих кошмаров и жертва непостоянного нрава своего демона, он несчастнее всего в несвободном мире, ибо он не может себя сделать чем то иным и переделать; приспособиться и ужиться, не фальшивя. И среди художников особенно литераторы нуждаются в свободе, ибо к счастью язык живописи и музыки слишком высок и темен, чтобы какой нибудь протестант цензор мог изобличить в нем крамолу. Ибо даже верить и мыслить можно тайно и для себя, писать же невозможно, ибо искусство естественно экспансивно.

4.

Не для себя и не для публики пишут. Пишут для друзей. Искусство есть частное письмо, посылаемое наудачу неведомым друзьям и как бы протест против разлуки любящих в странстве и во времени. Потому то также мало настоящих читателей, как мало настоящих друзей. Потому то каждый настоящий читатель мог бы быть другом и сам бы того хотел. Ибо, как часто мечтал я быть другом Тютчева, Рембо или Розанова.

Если бы мы знали, как мало у нас читателей — мы наверно писали бы гораздо лучше, как если бы знали сколько, — о как мало — людей нас любит, знали бы в точности кто; мы доверились бы им всецело, жили бы только для них, не интересовались бы остальными. Ибо хуже всего страх читателя, а вдруг не поймет? И от него и доходят до писання на читателя, а читатель сразу это понимает и не читает вовсе.

5.

Напишите попроще! — Не могу иначе писать, жизнь противна. Ну тогда о другом; не могу о другом, это самое за мной гоняется, требует через меня обрести бытие. Каждый настоящий литератор есть герой отказа от халтуры и ни один халтурщик не настоящий писатель.

И, действительно, какое может быть дело до тех, кто вяло одобряет; умрите Вы — да, скажут, умер, жаль! и перейдут к очередным делам. И как тяжело огорчить хотя бы одного или двух неведомых друзей, как огорчил Пастернак, когда стал выхалтуривать своего лейтенанта Шмидта по социальному заказу; просто стыдно огорчить. Своих потеряете, чужих не обретете. Ибо читатель Пшебышевского также некий особый биологический тип, как и читатель Рембо или Сергея Шаршуна, необыкновенный роман которого не посмело напечатать ни одно эмигрантское издательство.

6.

Да, все это хорошо, но существует-ли эмигрантская литература? Трудно ответить: несомненно есть литература в эмиграции, есть эмигрировавшая литература, но еще почти нет эмигрантской литературы, как раскрытия в образе эмигрантского духа.

Литература эмигрировавшая есть как бы странствующая академия не у дел. Она живет исключительно воспоминаниями, совершенно вне контакта с живой окружающей жизнью и медленно замирает среди своеобразной клоквы. Отношение к ней — спокойное доброжелательство, исключительно устная и печатная похвала, историческая перспектива.

Теперь о литературе в эмиграции.

Волею судеб в эмиграцию было заброшено некоторое количество талантливых людей. Некоторые из них, не лучшие морально и не худшие, принадлежат к типу сердец не причастных к социальной жизни; таков Ю. Фельзен, например. Такими были Пруст, Соллогуб, Маллармэ; они пишут в эмиграции и писали бы в любой стране и на любом языке о вечных вопросах, о вопросах вечно занимающих их — и эмиграция есть всего лишь социальная декорация для их «самого важного», —

сентиментальных осложнений, например. Для них эмиграция есть нечто случайное и они вовсе не занимаются ее идеологическим средоточием, тем, что я называю особого рода «провиденциальностью».

Ибо для рядового эмигранта, особенно для молодого, сумевшего победить жизнь, говорящего на местном языке и практикующего спортсмена — быть эмигрантом есть уже не неволя, не необходимость, а некий свободный выбор атмосферы, ибо тем, кому она не нравится, широко открыт доступ в любую, достаточно культурную, «новую родину», жаждущую свежего человеческого материала. Их позиция как то чище и благороднее позиции эмигрантских деятелей первого призыва, которые ничего другого и делать не могут. Однако, несмотря на относительное неудобство, эти молодые продолжают считать себя членами того апокалипсического тайного общества, которым могла бы стать эмиграция; расположенного над Россией, над Францией, над Европой и над Азией, над богатством и над нищетой; общества, обогащенного всеми полуостровами всех стран и состояний, с шумом сталкивающимися медными лбами подле него.

Дело в том, что эти люди, следственно и писатели, участвуют в каком-то духовном средоточии эмиграции, в некоем, не совсем и не всем ясном, ее деле, в ее провиденциальной заданности, все это волей, — а не неволей, как сбитые с толку беженцы с карикатуры Мад-а. Так Ю. Фельзен, например, сформировавшийся в эмиграции, не участвует духовно в ней, а Георгий Иванов, сформировавшийся в России, — участвует, хотя полезны или вредны его прекрасные стихи — вопрос другой.

7.

«Вдохновенными устами, говоря без улыбки, без белли и румян, Сибилла достигает своим голосом предела в тысячу лет, благодаря своему богу».

Около первого года нашего летоисчисления, античный мир жил напряженным ожиданием гибели в огне, которую Сибилла Кассандра предрекла ему за десять веков до того, еще во времена Иллиона. Гераклит повторил предсказание и ожидание

было настолько реально, что Римский сенат должен был издавать постановления для успокоения волнений.

Казалось — ничто не угрожало римскому миру и его четыреста большим городам, имевшим театры, его университетам, включавшим до пятидесяти тысяч студентов, его идеальной военной организации. Однако, гибель античности была уже реальностью, как червь в сердце прекрасного плода. Среди яркого дня, показавшегося вдруг темною ночью, на городской стене, около мест погребения, уже кричал петух на заре какой то новой жизни.

Ангел Рима был уже осужден и «мстители» уже начали собираться по задворкам, петь и ковать свои железные кресты.

Греки были мечтателями и болтунами, римляне были водопроводчиками и инженерами. Взойдя на гору, говорит Д. Джойс, грек тотчас же думал: «построим здесь храм». Римлянин же: «проведем здесь канализацию, поставим баню».

Однако римляне строили и храмы — и на улицах города ко времени Клавдия оставалось еще сорок пять тысяч богов и героев, переписанных во избежание истребления. А сколько было сожжено, как дивный Серапис Александрийский, потоплено в реках, расплавлено на монету и разбито! И все же чудо человека было осуждено. Тысячу лет потом апологеты вспоминали, это и мы вспоминаем. Человеческое сердце отвернулось от каменного величия и то, что некогда вдохновляло до иступления бородатых мужей времени республики, вызывало теперь лишь грустный эстетический восторг стойков и мистов новых таинственных культов. Какой вечер в речах божественного Антонина!

«Боже справедливый, возьми, что пожелаешь, дай, что пожелаешь»... «Ибо Ты, а не я написал пьесу, в которой мы все актеры». Император — актер, Рим — декорация, освещенная дивным косым вечерним солнцем...

Так и мы ныне уже лишь грустно-торжественно любим Европу, последнюю богиню Бареса, на защиту добродушной, земной красоты которой умерло недавно еще столько миллионов. Но жалость и снисхождение не есть любовь и это все, что в нас есть; и разве у рабочего есть сердце и время, чтобы любить, ибо и чтобы любить нужно время.

В девятнадцатом веке он просто пил и умирал, теперь у него есть «законный досуг», восьмичасовой рабочий день. Но кому неизвестно, что восьмичасовой день был признан наиболее рациональным и выгодным способом использования нервной энергии рабочего. Одно из достижений научно-поставленной эксплуатации. И этой энергии после восьми часов работы «а la chaîne» вовсе не остается, при нечеловеческом, психологическом напряжении внимания. Именно способность ко вниманию израсходована до конца. И хотя физические силы еще остаются, нервной силы — сердца ее, уже не остается, разве только на фокстрот и кинематограф, а без нее нет ни духа, ни искусства, ни счастья.

8.

Конечно, с исторической точки зрения мне возразят, что Римская Империя погибла от экономических условий, от того, что Италия уже почти не обрабатывалась, Рим жил привозом, который был в руках случайного диктатора, оттого что сперва надоело возделывать землю, а потом и воевать. Все это я сам знаю. Но больше верю наивному св. Киприану: «сердце граждан отворотилось от Капитолия».

Когда-то, смотря на строящуюся руками легионеров, го- есть избранных граждан, арку нового водопровода, бородатый республиканец, в сандалиях, добродушно и степенно ухмылялся, думая — «нашенское строится». Но около первого года бритый римский молодой человек в котурнах, смотря на воздвигаемое руками рабов новое здание для морских гладиаторских боев, в бассейн которого десять галер могли погрузиться до верхушек мачт, уже думал иное, презрительно-иронически или удивленно произнося: «Ишь строится» или «Нерон строит».

«Наше». «Чужое». «До последнего человека защищаем наш город». «Будем-ли защищать императорскую провинцию?»

Кто в Европе кроме акционеров может сказать «Наше метро», «Наш Банк де Франс»?

«Ничье», «Чужое» (один шаг до развратного дьявольского).

И разве какаянибудь кухарка, влюбленная в городского, может сказать «Наш иностранный легион дефилирует по бульвару», или «Наша полиция разогнала манифестацию»?

Где же во всем этом «наша Европа», которую все же

нужно будет кому то итти защищать, когда «пятилетнему комсомольцу» делается двадцать лет? Ибо Россия сейчас бедна, как беден делец, все деньги вкладывающий в предприятие, лишаяющий себя необходимого; но только такие дельцы и богатеют...

Ну, а книги? скажете Вы мне.

9.

«Благословенный ученик и подобие Иисуса, св. Франциск, вообще не любил книг. Но завидев на земле хотя бы малейший кусочек пергамента, покрытый буквами, благоговейно поднимал его и нес, ибо из букв этих могло быть составлено имя Иисуса».

Часто от всех огорчений я ухожу в библиотеку. Ибо уже давно у меня сложилась идея глубокой обязанности относительно умерших писателей всех времен — прочесть их. Ибо, думаю я, они жили не для себя и не для современников, а именно для меня. Они как бы молят меня с полком, дай им исполнить их назначение, спаси их жизни, столь тщетные иначе. И мне казалось когда то, что если бы все горело и рушилось или тонуло, — я набрал бы полную охапку все равно каких книг и так и шел бы с ними, пока не упал-бы и не умер. И вместе с тем «благословенный ученик Иисуса, св. Франциск, не любил книг» — думаю я вдруг — и что узнал бы большего, прочтя, например, сперва «физиолога» XII века и затем «о животных» Аристотеля, Гиппократа или Плиния старшего. В «физиологе» все это как-то даже интереснее.

«Муравей же, влезши на стебель, первоначалу нюхает зерно и так различает плевелу от доброй ржи. Так и Господь наш Иисус, проникши в сердца наши, испытует их».

Сколько времени я потерял даром и на что мне были Пюлибий и Диодор Сицилийский и все ахейские союзы; если есть Подражание Христу, Цветочки св. Франциска и Трактат о темной ночи Иоанна Испанского, да и их можно было бы сократить до одного «изборника», подобного «Пчелам».

И все-же боюсь, что я, подобно св. Франциску, окажусь плохим защитником книг, ибо книги сильны против низменной жизни, но добро и гибель братьев сильнее всех книг и

Европа, увы, кажется погибнет от того, чего, казалось, в ней меньше всего. Европа погибнет от морали.

10.

Когда «пятилетнему» комсомольцу сделается двадцать лет он несомненно попробует свою несравненную техническую силу и свою новую антихристианскую мораль, разрешающую всякое насилие над «старым миром». И кто защитит тогда? Очень скоро большинство представителей «благоухающих седин» сойдет со сцены и с ними, надеюсь, их привычка к фальшивым громким словам, их заинтересованное воспитание и всякие сомнительные компромиссы. Мы останемся одни и сможем, наконец, поговорить честно, вне официальной лжи газет. Что выяснится тогда? Недавно одному обществу по устройству докладов необходимо было для полноты впечатления найти среди молодых литераторов хотя бы одного поклонника эксплуатации в стиле «машина освобождает человека», из числа никогда не стоявших ни за одной машиной; было опрошено более пятидесяти человек и с величайшим трудом найден один молодой писатель, да и тот отказался говорить, сославшись на то, что его интересует только личная любовная жизнь и он требует от политики только того, чтобы она ему не мешала.

Плохо дело последней богиши.

Здесь в эмиграции тише и чище, чем на улице. Эмигранты родились в буржуазном мире и знают его земную сократическую глубину. Но они на опыте, а не из брошюр знают, что такое эксплуатация и какой ценой можно лишь защитить свою духовную жизнь. Они на опыте проверили то, что говорилось и писалось сверху вниз и не подленькому официальному оптимизму их переубедить.

11.

Так погиб Рим: сердце граждан отвратилось от Капитолия; им надоело воевать — и те, что некогда не допускали рабов до военной службы, как слишком почетной, — теперь начали довольствоваться наемными Вольсками и Герулами.

Как раз в это время судьба и выдвинула на авансцену ве-

дикое переселение народов. А теперь — не та-же ли судьба выдвигает «пятилетнего» комсомольца?

И будем-ли мы укреплять дух человека улицы, дабы он шел на смерть в облака смердящего газа за «священный капитал» Коти и за «третью Империю» Гитлера-Круппа?

Мы сами, может быть, не станем разрушать этот мир, ибо мы христиане и для нас христианство несовместимо с насилием — что-бы по этому поводу ни говорили политиканствующие церковники. Но мы не можем не предвидеть то, что неминуемо наступит. Строй, породивший предстоящий ужас, не продержится в случае новой бойни даже года, даже полугода.

Мы живем ныне уже не в истории, а в эсхатологии и даже самые грязные газеты это смутно понимают.

Но какой же из этого вывод? Что же следует делать нам — художникам, писателям, скульпторам, композиторам?

12.

Вывод прост: следует всеми силами будить, трясти и даже мучить Европу, чтобы она в эти последние годы перед бесповоротною гибелью очнулась вдруг, произвела бы необходимые «до-зарезу» социальные реформы, освежилась бы морально, экономически и спортивно, чтобы она вновь, хотя бы немного, возвратила себе любовь обездоленных. Ну, а если она, замороженная газетными жуликами, не услышит, не проснется? И снова за грехи имущих начнется организованный расстрел на двадцати фронтах?

Тогда поручим свое сердце благословенной госпоже святой бедности, невесте св. Франциска Ассизского и Серафима Саровского, — и временно уйдем в свое апокалипсическое искусство. Но будем помнить, что только самые физически сильные, самые образованные, самые стойчески-настроенные смогут выжить. Вновь посеять древние семена, возродить сперва тайные союзы, немногочисленные секты; потом, 12 часов «ударно» работая — петь гимны и псалмы; уничтожаемые, но непреклонные, — вынести вновь на свет наше абсолютное утверждение Свободы и Духа.

Борис Поплавский.